



Сегодня мы знакомим вас с воспоминаниями замечательной русской поэтессы М. И. Цветаевой (1892-1941) — «Пленинный дух».

Удивительна и трудна судьба Марины Ивановны. Родилась в семье профессора И. В. Цветаева, основателя Московского музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В раннем возрасте жила в Швейцарии и Германии, обучалась там в частных школах. В 1909 году Цветаева вышла в Париж — изучала французскую поэзию, посещала лекции в Сорбонне. Уже первые ее поэтические сборники — «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный фонарь» (1912) говорили о ее несомненном поэтическом даровании. Муж Цветаевой — С. Я. Эфрон после Октябрьского переворота оказался в стане белых. Чтобы воссоединиться с ним, Марина Ивановна в 1922 году покинула родину. Первоначально жила в Чехии, затем во Франции. Первые годы эмиграции стали для Цветаевой весьма плодотворными. Она много, как, пожалуй, никто из ее соотечественников, читала в это время в журнале, издававшемся в Париже, поэтические произведения и мемуары. И все же напряженная работа не спасала ни от тоски по родине, ни от материальной нужды. Она бежала от убогого эмигрантского бытия, летом 1939 года вернувшись на Родину.

Воспоминания «Пленинный дух» впервые были опубликованы в журнале «Современные записки» (Париж, 1934 год, № 55).

Публикация Валентина ЛАВРОВА.

ли уж непременно нужно быть чьим-то сыном, я бы предпочел, как Андерсен, быть сыном гребовщика. Или наборщика. Честное слово. Чистота и уют ремесла. Вы этого не ощущаете клеймом? Нет, конечно, вы же — поэт. Вы не несете на себе тяжести преемственности. Вы — просто вышли замуж, сразу замуж — да а сын может только жениться, и это совсем не то, тогда его жена — жена сына профессора Бугаева. (Шепотом: А бугай, это — бугай.) И, убого, с оборотливой улыбкой: Производителя.

Но оставим профессорских детей, оставим только одних детей. Мы с вами, как оказалось, дети (вызывающе) — все равно чьи! И наши отцы — умерли. Мы с вами — сироты, и — вы ведь тоже пишете стихи? — сироты и поэты. Вот! И какое счастье, что это за одним столом, что мы можем обоим заказать кофе, и что нам обоим дадут — тот же самый, из одного кофейника, в две одинаковые чашки. Ведь это роднит? Это уже — связь? (Не удивляйтесь: я очень одинок, и мне грозит страшная, страшная, страшная беда — под ударом.) Вы ведь могли оказаться в Сибири? А я — в Сибири. Есть еще такое простое счастье. На другое утро издатель, живший в том же пансионе и у которого ночевал Белый, когда запаздывал в свой загород, передал мне большой песочный конверт с императивным латинским В. В. надписанным вершковскими буквами, от величии казавшимися нарисованными.

— Белый уехал. Я дал ему на ночь вашу «Разлуку». Он всю ночь читал и

просьбы устроил две моих рукописи: «Царь-Девушка» в «Эпоху» и «Версты» в «Огоньки», подробно оговорив все мои права и преимущества. Для себя же ухаживал за другим делом. Смушенно и все же удовлетворенной улыбкой (а глаза у него все-таки были самые нежные, в которые я когда-либо глядела, гляделась).

— Вы меня простите, это вас ни к чему не обязывает, но я подумал, что может быть так — проще, что другому, со стороны — легче. Не примите это за вмешательство в вашу личную жизнь...

Такого другого, с той стороны, с которой — легче, всей той стороны, с которой — легче — у Белого в жизни не оказалось.

Так мы опять просидели дотемна. Так он опять пропустил свой последний поезд...

В одну из таких ночевочек, на этот раз решенную заранее (зачем уезжать, когда с утра опять приезжать?) и зачем бороться пропустить последний поезд, на котором все равно не поедешь? Белый сильно пострадал от моей восьмилетней дочери и пятилетнего сына издателя, объединившихся. Галики дети, догадавшись, что с Белым можно то, чего нельзя ни с кем, потому что сам он с ними так, как никто, потихоньку, никому не сказав, положили ему в постель всех своих резных зверей, наполненных волюю. Утром к столу Белый с видом настоящего Победоносца. У детей лица вытягиваются. И Белый, радостно: — Нашел! Нашел! Обнаружил, ложась, и выбросил — полными. Я на них не лег, и только чего-то тол-

чи нет. Родная! Голубушка! Уйдем отсюда, пусть они сами пойдут...

Не забыв заплатить за кофе (таких вещей не забывал никогда), выводит меня, почти бегом, но никого и ничего не задев, за руку между столиками.

— Теперь куда? Хотите — просто к вам? Но у вас дочь, родственники... А нельзя же, чтобы маленькая девочка сейчас знала, как поступит через двадцать лет, когда человек отлетит вся свою жизнь, а она на нее наступит... хуже! Перешипанет — как через лужу.

— Как чист Берлин! Я иногда устаю от его чистоты... Хотите просто ходить? Но ходить это ведь (лукаво) заходить: и опять пить, а я от этого бегу...

— Можно просто на скамейку.

— А вы знаете такую скамейку? Без глаз? Потому что, если дадут шутки — как это у них издевательски: муж защити! — если дадут такой муж защити, так мало похожий на человека, так сильно похожий на столб — вдруг вперит, нет, вопре, свое око, не оберну головы: только око, оловянное око — как, знаете, были в детстве такие приманки в кофейных витринах, на Неглинном: неподвижная рожа, с вращающимися глазами. Точно прозвешен голландский сыр... Я в детстве так боялся. Мамочка думала развлечь, а я из деликатности делал вид — усталое слово «деликатность» — из деликатности, говорю, делал вид, что страшно весело, а сам дрожал, дрожал... Роба не двигается, а глаза вот так, вот так, ни разу — эдак. Как я тогда молча молил: — Сломаясь!

ваным вокзалом и уж, конечно, собственным, как дети рисуют, домиком: вот дом, вот труба, вот дым идет из трубы, а вот я стою.

— Я бы с величайшим счастьем сам за вами заехал и довел бы, но — вы не сердитесь, я знаю, что это бесовский готтентотский эгоизм — мне так хочется завидеть вас издали, синей точкой на белом шоссе — как хорошо, что вы носите синее, какая в этом доброта! — сначала точкой синей, потом темной синей, такой же синей, как ваша собственная, вашей же тенью, длинной утренней тенью, вставшей с земли и на меня идущей... Знаете, синяя тень, напоенная небесной лазурью...

— Золото в лазури! — по ассоциации говорю я. Он, хватая мою руку: — Вы не знаете, что вы сейчас сказали! Вы — назвали. Я об этом все время думаю — и боюсь. Боюсь — начать. Боюсь — все выйдет по-другому... Для них «перезагрузка»... Для них «стихи». Но теперь, когда вы это слово сказали, я начну... Я со всем усердием примусь, это будет ваша лазурь.

Выйдя с вокзала — прямо, потом (переводя меня через карикатурный шпал) перейти шоссе (уменьшающееся) только раз перейти! Не сердитесь, не сердитесь, родная! Не мне так безумно хочется вас жадать, вас намеренно жадать. Завидеть вас издали, в синем платье, ведущей дочь за руку...

Не отрываясь от маршрута, тщательность которого больше смущала, чем просвещала: столько рисовал и написал, так крестиками и стрелками

так поминать — сосисками и пивом, помянули — опять на кладбище! Но так ведь поправиться можно! Ожирение сердца нажить — с тоски!

Теперь я и циндильер понимаю. Когда он идет на могилу к жене, он надевает циндильер, который перед могилкой снимает, в этом жесте — весь обряд. Но, знаете, странно, они на могилу едут целыми фурами, фурами. Вы таковых не встречали? Полные фуры черных людей... Немецкий корпоративный дух: и слезы вместе, и расхола вместе... Вдовье место, вдовье место, противное место...

И слово не нравится: Zossen. Острое и какое-то плотское, точно клецка.

МОЖНО любить и совершенно даже естественно полюбить после писателя человека совсем простого, дырявого... Но этот дырявый не должен писать теоретических стихов!

(Взрывом). О, вы не знаете, как она зла! Вы думаете — он ей нужен, дырявый ей нужен, ей, которой (отлет отловы)... тысячелетия... Эй нужно (шепотом) ранить меня в самое сердце, ей нужно было убит прошлое, убит себя — ту, сделать, чтобы той — никогда не было. Это — месье. Месье, которую описал я один. Потому что для других это просто увлечение. Так... естественно. После сорокалетнего пысевого нелепого — двадцатилетний черноволосый, с кинжалом и так далее... Ну, влюбился и забылся: разбил всю жизненную форму. О, если бы это было так! Но вы ее не знаете: она холодна, как нож. Все это — голый расчет. Она к нему ничего не чувствует. Она даже убеждена, что она его ненавидит... О, вы не знаете, как она умеет молчать, вот так: сестра — и молчать, стать — и молчать, глядеть — и молчать.

— Месье? Но за что?

— За Сицилию. За «Офрейру». «Я вам больше не жена. Но — прочтите мою книгу! Где же я говорю, что она мне — жена? Она мне — она... Мерцающее видение... Козочка на уступе... Нэлли. Что же я такого о ней сказала? Да и книга уже была опечатана... Где она увидела «интимность», «собственность», печать (неудовольно) мужа?

Гордость демона, а поступок маленькой девочки. Я себе не представляю, как, что, вот... жена другого. Точно и без этого не ошутит. Точно я всегда этого не знал. И вот из сложнейших душевных источников, грубейший факт, которым оскорблены все, кроме меня.

...Мне ее так жаль.

Вы ее видели? Она прекрасна. Она за эти голы разлуки так выросла. Так возмужала. Была Психей, стала Валькирией. В ней — сила! Сила, дающая ей ее одиночеством. О, если бы она по-человечески, не провазом с группой, с группой, полчас в кафе, а дружески, по-человечески, по-глубокому, по-высокому — я бы, обливаясь кровью, первый приветствовал и порадовался...

Вы не знаете, как я ее любил, как ждал! Все эти годы — ужаса, смерти, тьмы — как ждал. Как она на меня сияла...

И его мне жаль. Если он человек с сердцем, он за это жестоко поплачет. Она зальет его презрением... «Маур сделал свое дело, Маур должен уйти». А он, должно быть, ее безумно любит!

(— Как у тебя все по высокому, горю я внутри рта, вот он уж у тебя и Маур... И как с мужской, по крайней мере, стороны все несравненно проще, той простотой, которой тебе не дано понять. А безумная любовь сидит, угрюмый, как сын и, заглываясь, везет: «Ну и скучишь как с ней! Молчит, не разговаривает, никогда не улыбнется. Точно сова кака-то...» Но этого ты не узнаешь никогда).

— Простите, я вас измучил! Такое солнце, а я вас измучил! Только приехали, а я вас уже измучил. Не надо больше о ней. Ведь — конечно. Будем о другом. Ведь я стихи пишу. Ведь я после вашей Разлуки опять стихи пишу. Я думаю я не поэт. Я могу — годами не писать стихов. Значит, не поэт. А тут, после вашей Разлуки — слышу. Остановить не могу. Я пишу вас — дальше. Это будет целая книга: «После Разлуки» — после разлуки — с ней, и Разлуки — вашей. Я мысленно посвящая ее вам и если не проставляю посвящения, то только потому, что она ваша, из вас, я не могу дарить вам вашего, это было бы — нескромно.

Можно вам прочесть? Когда устанете, остановите, я сам не остановлюсь, я никогда не остановлюсь...

И вот, над унынием доссеского ландшафта:

Ты вставала, сказала, что — нет! И какие-то призраки мы. Не сияла свет. Не осияла — ты. Ты ушла Между нами года — Пролетая. Говорила, у Берлина чудные окрестности... Я ждал... вроде Звенюрода... А здесь... как-то... голо. Вы за метели деревья! (Не заметила никаких, ибо нельзя же шесть деревьев тончайшими прутья, обнесенные толстыми решетками). Без тени! Это человек был без тени — в каком-то немом предании, но это был — человек, деревья — облазы отбрасывать тени! И птицы не поют — понятно: в таких деревьях! У меня в Москве по утрам — всегда пели, даже в двадцатом году — пели, даже в большевистские, пели, даже в тифу — пели...

И население противное. Подозрительно-тихое. Ступают, точно на войлочных подошвах, вы не заметили? И — может быть, это под Берлином мода такая? — все в черном ни одного даже коричневого и серого пятна. все черное, даже женщины — в черном. (Я мысленно: — А, милый, вот откуда твоя страсть к моей синеве!)

А мебель белая, и пахнет свежим тесом. В этом что-то (отсутствие) зловещее? Может быть, это какой-нибудь особенный поселок?

Я, быстро отводя: — Нет, нет, после войны — везде так.

Он, явно облебенный: — Ах! значит — вояки и воядов! Отдельный поселок для вояд и воядов... Как это по-немецки... по-русски... И как по-немецки, что они не догадываются перебраться и одеться во что-нибудь другое... Теперь я понимаю и венки, это обилие венков и букетов — совершенно необычайное при отсутствии цветов — потому что цветов, вы заметили, сухие дворы. Здесь наверное где-нибудь близко кладбище? Гигантское кладбище! Они просто построились на кладбище, теперь я понимаю однообразие построек... Но вот что изумительно: ни вид у них, ни при всем их восторженности, я нигде не видал таких красивых лиц... Впрочем, понятно: по стоянные поминки... Как с кладбища,

ПЛЕНИННЫЙ ДУХ

Марина Цветаева об Андрее Белом

страшно взволновался. Просил вам передать.

Читаю: Zossen, 16 мая 22 г. Глубокоуважаемая Марина Ивановна.

Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией вашей книги «Разлука».

Я весь вечер читаю — почти вслух, и — почти рвущая. Давно я не имел такого эстетического наслаждения.

А в отношении к мелодии стиха, столь нужной после расхлябанности Моквиной и мертвенности Акмеистов — ваша книга первая (это — безусловно).

Пишу — и спрашиваю себя, не переопишу ли я свое впечатление? Не приписываю ли мне Мелодия? И — нет, нет, я с большой скукой развешиваю все новые книги стихов. Со скукою развернул и сегодня «Разлуку». И вот — весь вечер под властью чар ее. Простите за неподдельное выражение моего восхищения и примите уверение в совершенном уважении и преданности.

Борис Бугаев. Письмо это написано такой величине, что каждый из тех немногих, которым я после беловской смерти его показывала: — «Так не пишут. Это письмо сумасшедшего». Нет, не сумасшедшего, а человека, желающего остаться в границах, величинной букв занять все то место, оставшееся бы безмерности и беспредельности, вы-вторых же, внешней восторженностью выливается восторженностью. Так ребенок, например, в обычном тексте письма, вдруг, до суща обманув и от плеча нажав: «Мама, я очень вырос!» Или: «Мама, я страшно тебя люблю». Такто, господа, мы в поэте объявляем сумасшествием вещи самые разумные, первичные и законные.

Я сразу ответила — про мелодию. Помню образ реки, несущей на хребте — все. Именно на хребте, мощном и гибком хребте реки: рыбы: русалки. Реку, дающую в образе плыва, расталкивающего плечами берега, плечами пролающего себе русло, движением создающего течение. Мелодию — в образе этой реки. Он ответил — письма этого у меня здесь нет, мне — письмом, себе самому статей (в «Днях», кажется) о моей «Разлуке». Помню, что трех четвертей статьи я не поняла, а именно этого ритмического исследования, всех его доказательств. Вечером опять восторженно.

— Вы прочли? Не очень неграмотно? — Так граммотно, что я не поняла. — Значит, плохо. — Значит, я — неграмотная. Я, честное слово, никогда не могла понять, когда мне пытались объяснить, что я делаю. Просто, сразу теряю связь, как в геометрии. — «Понимаете?» — «Понимаю» — и только один страх, как бы не начали проверять. Если бы для писания пришлось понимать, я бы никогда ничего не смогла. Просто от страха.

— Значит, вы — чудо? Настоящее чудо поэта? И это дается — мне? За что? Вы знаете, что ваши книги изумительны, что у меня от нее физическое сердцебиение. Вы знаете, что это не книга, а песня: голос, самый чистый из всех, которые я когда-либо слышала. Голос самой тоски: Sehnsucht! (Я должен, я должен, я должен написать об этом исследовании!) Ведь — никакого искусства, и диффы, в конце концов, бедные... Руки — разлуки — кто не рифмовал? Ведь каждый... убождо лучше срифмуем... Но разве дело в этом? Как же я мог до сих пор вас не знать? Ибо я должен вам признаться, что я до сих пор, до той поры, не читал ни одной вашей строки. Скудно — читать. Ведь веры нет в стихи. Изоляционистские стихи. Стихи изоляционистские! Когда стали их писать, составляли, они уклонились.

Я никогда не читаю стихов. И никогда их уже не пишу. Раз в три года — разве это поэт? Стихи должны быть единственной возможностью выражения и постоянной насущной потребности, человек должен быть на стихи обречен, как волк на вой. Тогда — поэт. А вы, вы — птица! Вы поете! Вы во мне каждой строкой поете, я пою вас даше, вы во мне поете дальше, я вас останавливаю в себе не могу. С этого уже два дня прошло... Думал — раздалаюсь письмом, статей, — нет! И боюсь (хотя не надо этого бояться), что теперь скоро сам...

Статьи и устной хвалой не ограничился. Измученный, ничего для себя не умеющий, сам, без всякой моей

— Тоска.

того и холодного... коснулся. Какого-то... животного. (Шепотом): Это был живот свиньи.

Сын издателя: — Моя свинья... Ва-ша? И вы ее... любите? Вы в нее... играете? Вы ее... берете в руки? (уже осуждающе) Вы можете взять ее в руки: холодную, вялую, трясущуюся, или еще хуже: страшную, раздутую? Это называется... играть? Что же вы с ней делаете, когда вы в нее играете? — Ошеломленный «вы», выхватив чужие карие глаза, явно и спешно глотает. Белый, оторвав от него невидящие (свинным видением заполненные) глаза и скосив их в пол, как Георгий на дракона, со страхом и угрозой:

— Я... не люблю свинью... Я — боюсь свинью!...

Этим ю как перстом или даже копейкой упираюсь в свинойрыльный пятак.

Перерыв, который лучше всего бы заполнить графически — тире: уезжал, писал, тосковал, — не знаю. Просто пропал на неделю или десять дней. И вдруг возник днем в кафе Prague diele. Я сидела с одним писателем и двумя издателями, столик был крохотный и весь загроможденный посудой и лотками и еще рукописями и еще рукопожатиями непрерывно подхаливших и здоровающихся. И вдруг — лез руки. Через головы и чашки и ложки две руки, хватающие мою... Вы! Я по вас соскучился! Стоксовался! Я все время чувствовал, что мне чего-то не хватает, главного не хватало, только не мог догадаться, как курьезный, который забыл, что можно курить и, не зная чего, все время ищет: перемешает предметы, заглядывает под вешалку, под бювар...

Кто-то ставит стул, расчищает стол... Нет, нет, я хочу рядом с... ней. Голубушка, родная, я — погубил человека! Вы, конечно, знаете? Все — уже знают! И все знают, почему, а я — нет! Но не надо об этом, не спрашивайте, дайте мне просто быть счастливым. Потому что сейчас я — счастлива, потому что от нее — всегда сияние. Господа, вы видите, что от нее идет сияние?

Писатель выпрыснул трубку, один издателей полуполкнулся на мою сторону, и другой, Белого отчески любящий и опекавший, отчетливо сказал: — Конечно, видим все.

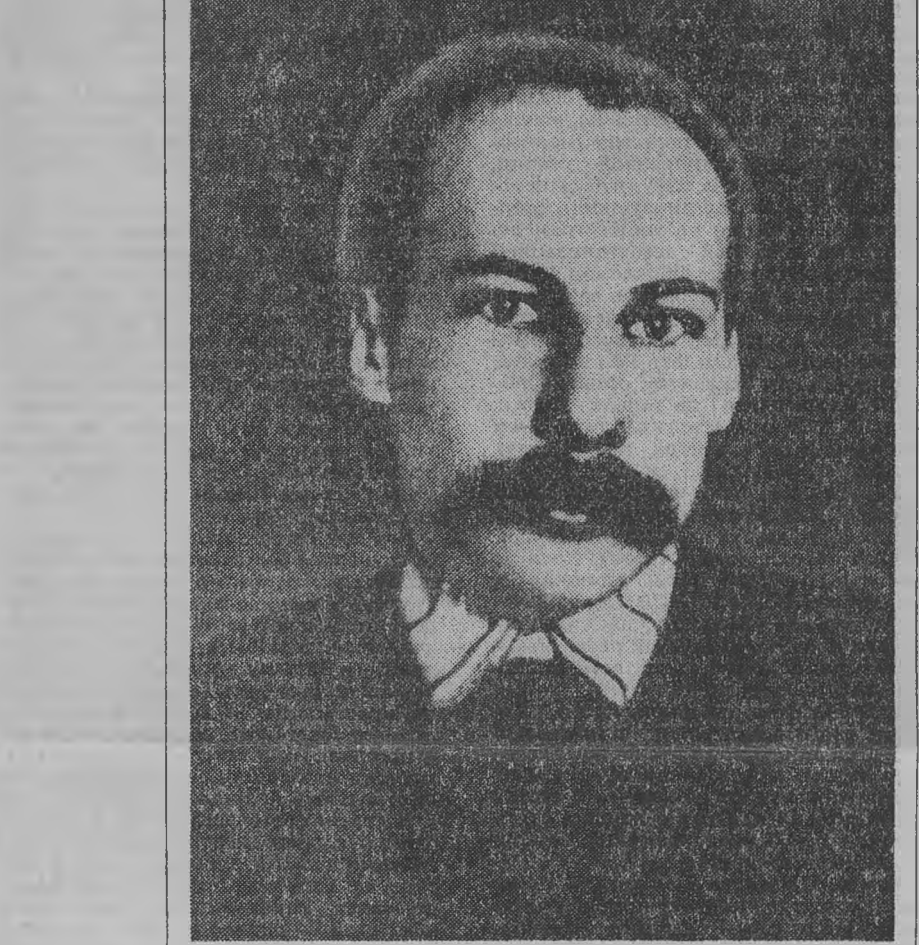
— Сияние и успокоение. Мне с ней сразу спокойно, покойно. Мне даже сейчас, вот, — легко заснуть. А ведь это, господа, высшее доверие спать при человеке. Еще большее, чем раздеться донага. Потому что спящий — сугубо наг, весь обнажен вражде и суду. Потому что спящего — так легко убить! Так — соблазнительно убить! (В себе, в себе, в себе убит, в себе убит, в себе убит, развенчать, изболеть, поймав с полчищем, заклеймить, закатить в Сибирь!)

Кто-то: — Борис Николаевич, вам может быть, кофе?

— Да. Потому что на лбу у спящего, как тени облаков, прохладят самые тайные мысли. Глядящий на спящего читает тайну. Потому так страшно спать при человеке. Я, когда в России спал при другом, Инока, в России (оборот головы на Россию) я этим страшно мучился, среди ночи вставал и уходил. Заснешь, а зот проснется — и взглянет. Слишком пристально посмотрит — и спазм. Даже не от зла, просто — от зла. Я больше всего боялся, когда ехал из России, что очнусь — под взглядом. Я просто боялся спать, старался не спать, стоял в коридоре и глядел на звезды... (К одному из издателей:) — Вы говорите во сне? Я — кричу...

— А при ней — могу... Она на меня наводит сон. Я буду спать, спать, спать. Ну, дайте вашу руку, ну, дайте мне руку и не берите обратно, совершенно все равно, что они все здесь...

Смущенная, все же даю руку, обратно не беру, улыбкой на шутку не свожу, на окружающие улыбки — не иду. И он, должно быть, по напуганности, испугу, внезапно понял: — Простите! Я может быть не так себя вел. Я ведь отлично знаю, что нельзя среди бела дня, в кафе, говорить вещи — раз навсегда. Но я всегда в кафе! Я — обречен на кафе! Я как безпризорный пес шляется по чужим местам. У меня нет дома, своего места. (Будка есть, но я не пещ!) Я всегда должен пить кофе... или пиво... эту галст... весь день что-то пить маленькими порциями и потом звенеть ложкой о кружку или чашку и вынимать бумажку... Не могу своей рукой внезапно написать кофе... Я должен его выпить, а я не хочу: я не бегемот, наконец, чтобы весь день глотать, с утра до вечера и даже ночью, потому что в Берлине по-



А. БЕЛЫЙ. 1906—1907 гг.

Значит, вы знаете такую скамейку? Как на Никитском бульваре, полойдет собака, погладишь, опять уйдешь... Желтая, с желтыми глазами... Здесь нет так собак, а уже смолот, здесь все — чьи-нибудь, все — чьи-нибудь, здесь только люди — ничьи, а может быть, я один — ничей? Потому что самое главное — быть чьим, о чьим бы ни было! Мне совершенно все равно — вам тоже? — чей я, лишь бы тот знал, что я — его, лишь бы меня не «забыл», как я в кафе забываю палку. Я тогда бы и кафе любил. Вот Иск, Искрен, все, что с нами сидит, все у них, кроме нас, есть еще что-то — неважно, что у них есть и неважно, что у них есть, но каждый из них чей-то, принадлежность. Они могут идти в кафе, потому что могут из него уйти не в кафе... В кафе — все вам это уже рассказали, а теперь я сижу — три дня назад кончилась моя жизнь.

— Но вы где-то все-таки...

— По-кажу. Сами увидите, что это за «где-то» и какое это «все-таки». Именно — все-таки. Вы гениально сказали: все-таки. О, я бы вас сейчас с собой повез, но... это ужасно далеко: сначала на траве, потом по железной дороге, и тороза долгие и дальние это уже за краем всех... возможности. Это — без адреса... Удивительно, что туда доходят письма, ваши письма, потому что другие — вполне естественно, нельзя более естественно. По существу, туда бы должны доходить только одни счета — за шпалу в английском магазине «Как» двадцать лет назад для мою будущую могилу на Ваганьковом...

А вы знаете? Мы тогда возьмем дочь. Вы приедете с ней, мы будем втроем, ребенок — это всегда имманентно мгновенно, это разгонит всякие видения...

— А теперь я поеду, нет, нет, не провозжайте, я вас уже измучил, я вам бесконечно-благодарен... Видите? Наш трамвай!

Привычным движением — сына, оторвавшись подсаживавшего мать в карету — подсаживает следом. Стоя на летящей площадке, плечо к плечу. Беря мою руку — Я больше всего на свете хотел бы сейчас положить вам голову на плечо... И спать стоя. Лошади стоя ведь спят.

ПЕРЕД аذانем вокзала, отступив наконец руку (держал ее все время у сердца, вжимал в него):

— Нет. Сегодня — нет. Я ведь знаю, сколько я беру сил. Берегите на когда совсем не захочется. Сейчас я — счастлива, совсем спокоен. Приеду домой и буду писать вам письмо...

Держа в руках подробнейший трогательнейший рукописный и рисованный маршрут — в мужичинах того поколения всегда было что-то отеческое, старинный страх, что забудутся, испугается, где-нибудь на повороте будем сидеть и плакать... маршрут, мало в стрелках и в крестиках, но с трамваями в виде трамваев, с нарисо-